

Борис Маслов

# Трансистолическое сообщество как предмет филологического знания<sup>1</sup>

Boris Maslov

The Transhistorical Community as Object of Philological Knowledge

**Борис Маслов** (Университет Осло, доцент; PhD) borismas@ifikk.uio.no.

**Boris Maslov** (PhD; Associate Professor, University of Oslo) borismas@ifikk.uio.no.

**Ключевые слова:** филология, стоицизм, Плутарх, Сенека, Р. Якобсон, Ю. Тынянов

**Key words:** philology, Stoicism, Plutarch, Seneca, Roman Jakobson, Yuri Tynianov

УДК: 80+82.091+7.01

DOI: 10.53953/08696365\_2022\_174\_2\_43

UDC: 80+82.091+7.01

DOI: 10.53953/08696365\_2022\_174\_2\_43

В статье проблема филологического знания рассматривается с точки зрения античных и современных теорий литературы и поэтического языка. Так, представление об особом качестве тесноты, которое Сенека вслед за Клеанфом обнаруживает в стихотворной речи, перекликается с идеями Ю. Тынянова и Р. Якобсона, а соображения последнего о фатической функции языка помогают прояснить, (1) почему именно литература оказывается основным предметом филологического знания и (2) каким образом филология служит построению трансистолических мостов между текстами и их читателями. Показывается, что уже в Античности филология как особая форма знания существует с риторикой и философией в рамках «эллинистической эпистемы».

The article places the problem of philological knowledge in relation to ancient and modern theories of poetic language. In particular, the notion that verse exhibits the quality of tightness or density, which Seneca borrows from Cleanthes, is paralleled by ideas formulated by Yuri Tynianov and Roman Jakobson, whereas the latter's remarks on the phatic function of language offer a framework for elucidating (1) why literature furnishes the principal object of philological knowledge and (2) how that knowledge aids in constructing transhistorical bridges between texts and their readers. The article argues that, within the "Hellenistic episteme", philology coexisted with rhetoric and philosophy as one of the three fundamental forms of knowledge.

## 1. Филология, XXI век

Последнее десятилетие — время оживленного интереса к тому, что такое и чем могла бы быть филология. В США этот новый разговор о филологии начался тогда, когда многие литературоведы и историки культуры перестали воспринимать критическую теорию — часто приравниваемую к «континентальной философии» — как ресурс обновления гуманитарного знания. Восстановление дисциплинарных границ между философией и литературоведением заставило специалистов по национальным литературам и культурам вспомнить о предыстории своей науки.

---

1 Настоящая статья является переработанным текстом лекции, прочитанной в НИУ ВШЭ в Москве в декабре 2019 года. Автор признателен аудитории, рецензентам журнала, а также Даниилу Аронсону, Евгению Ганбергу, Дмитрию Калугину, Илье Клигеру и Рокко Рубини, читавшим статью в рукописи.

Эти воспоминания — как, например, в работах Шелдона Поллока [Pollock 2009]<sup>2</sup> — нередко окрашены ностальгией по тем временам, когда специалист по истории английской литературы в обязательном порядке изучал в университете латынь и древнеанглосаксонский. Действительно ли в эпоху cultural studies литературоведы растеряли свои специальные компетенции или речь должна идти об ускорившейся специализации знания, — вопрос открытый, но именно в этом контексте получает объяснение тот успех, который имела вышедшая в 2014 году книга историка Джеймса Тёрнера «Филология» с подзаголовком «Забывшие истоки гуманитарных наук» [Turner 2014]. Сама эта книга представляет собой обзор истории филологических штудий преимущественно в англоязычных странах в XVIII и XIX веках. Последнее само по себе вызывает некоторое недоумение, ведь львиная доля исследований древних и новых языков и литератур в этот период приходилась на Германию; в начале XX века в Америке филологический подход учеными-гуманистами все еще воспринимался скептически, как «тирания немецкого метода»<sup>3</sup>. Более существенно то, что книга Тёрнера представляет XIX век как царство позитивизма и здравого смысла, в котором специалисты по изящной словесности получили наконец скромную, но достойную должность при дворе Историографии и принялись за восстановление мертвых языков и трудночитаемых памятников.

Между тем сведение филологии к фактографии не просто курьез. Подобная эпистемология оказывается удобным ориентиром для гуманитариев-дигиталистов, для которых более или менее автоматизированное обследование больших корпусов данных служит приглашением вновь замкнуться на изучении словесного материала и отвлечься как от (с трудом поддающегося подсчету) культурного «контекста», так и от набивших многим оскомину теоретических изысков.

В российской науке союз филолога с компьютером был и остается привычным явлением по аналогичной причине: при советской власти, когда академическая философия попала под ярмо ортодоксального марксизма, многие литературоведы искали союза с точными науками. В западноевропейской и особенно североамериканской гуманитарной науке дигитальные, квантитативные, да и когнитивные исследования пока только борются с высокой теорией за центральные позиции. И пусть континентальная философия уже не так будоражит мысль, как тридцать или двадцать лет назад, императив изобретения новых и критической проверки старых понятий и категорий — императив, который несет в себе философская традиция, — продолжает тяготеть над умами гуманитариев. Объектом такого теоретизирования, как оказалось, вполне может быть и филология.

Новые попытки увидеть в филологическом знании особый инструмент познания действительности и предложить критическую генеалогию этого инструмента неизбежно возвращают нас к Ницше (ср.: [Porter 2000]). Согласно этим новым прочтениям, в знаменитой полемике с Ульрихом Виламовицем правда была на стороне Ницше, ведь тот практиковал более живую филологию, philologie active. Так вслед за Делёзом назвал ее Ролан Барт, искавший,

2 Русский пер. Н. Мовниной: *Поллок III. Филология будущего? Судьба мягкой науки в жестком мире.* 2011. № 110. С. 92–114.

3 Цитата принадлежит Баррету Уинделу (Barrett Wendell); обсуждение см. в [Maslov 2017: 486].

по выражению недавнего исследователя, у немецкого философа антидот против «соблазна сциентизма» [Weller 2019: 219]. Такая антипозитивистская филология, к которой в свое время призывал и Поль де Ман [de Man 1986], обещает освободить нас от истины, на место которой заступает метафора, и от фактов, на смену которым приходит плюрализм интерпретации.

Чтобы оценить, насколько далеко отстоит это видение филологии от того образа, который выстраивает в своей книге об «истоках гуманитарных наук» Тёрнер, достаточно сказать, что Ницше у Тёрнера не упомянут ни разу. Впрочем, возвращение к твердым истинам, которые (будто бы) добывает филология Виламовица, сегодня уже не может быть расценено лишь как консервативный жест, в силу того что постструктуралистская повестка дня, утратив эмансипационный импульс, была подхвачена теми, кому нет дела ни до философии, ни до филологии. Столкнувшись с политической риторикой, основанной на релятивистском понимании правды и права, даже те ученые, которые работают в русле критической теории, предпочтут понимать свое дело как верификацию смыслов, а не как их распыление. В двух вышедших одна за другой книгах американский компаративист Джон Хамильтон отождествляет филологию с внимательным, радивым чтением и любовью к воплощенному в тексте слову [Hamilton 2017; 2019]. В последней книге «Филология плоти» Хамильтон защищает парадоксальный с точки зрения истории науки, почти богословский, тезис, что без Бога-Логоса, принявшего на себя плоть, не было бы и филологии, сосредоточенной не на духе, а на текстуральной *плоти*; повторяющийся мотив книги — *присутствие*, «воплощенное в слове как таковом» [Ibid. 2019: 7], как одновременно и условие, и цель филологической работы. Понятие присутствия оказалось в центре литературоведческого дискурса не в последнюю очередь благодаря Хансу Ульриху Гумбрехту, писавшему о «потенциале филологии» еще в 2003 году [Gumbrecht 2003]; к критике этого понятия нам еще предстоит вернуться.

В современной констелляции знания, в которой память о старом содружестве филологии и истории сосуществует с последствиями риторического поворота (в том числе и в пределах философии), Тёрнер и Хамильтон оказываются невольными союзниками, на разные голоса свидетельствующими о своеобразном дефиците правдивости в гуманитарном знании. Вызывая из прошлого дух филологии, не только позитивисты, но и теоретики стремятся вновь научиться говорить об истине. Задача данной статьи — поместить филологию в эпистемологический контекст классической древности, в котором отношения между историографией, риторикой и философией были иными, а сама филология понималась намного шире, как одновременно эмпирический, направленный преимущественно на прошлое и включенный в поток личного жизненного опыта ученого поиск истины.

## 2. Φιλολογία / Philologia

Делая филологию предметом теоретического рассмотрения — как форму научного знания, как опыт понимания текстов, как форму человеческого общения, — мы должны быть готовы к тому, чтобы противопоставить ее философии *tout court* и опереться на принципы, выработанные самой филологией в ходе своего развития. Главные ориентиры для определения филологии как совокупности практик работы со словом заложены вовсе не в XVIII или XIX столе-

тии и даже не в трудах итальянских гуманистов, а уже в Античности, в которой параллельно, в напряженном диалоге, развивались три формы знания: философская, риторическая и филологическая. Этот диалог и был подхвачен в раннее Новое время.

Антагонизм между философией и риторикой — Платоном и Исократом, абстрактным и практическим знанием, идеями и словами, вечностью и настоящим, истиной и пользой — представляет собой своего рода *locus communis* интеллектуальной истории. Место филологии в этом конфликте на первый взгляд неприметно — не только в силу того, что ученые, практиковавшие филологическое знание в чистом виде и чьи труды дошли до наших дней (Варрон, Авл Геллий, Макробий, анонимные комментаторы-схолиасты), были и менее красноречивы, и менее амбициозны, чем древние ораторы и философы, но и потому, что филологичность была свойственна в той или иной степени почти всем античным интеллектуалам. Само понятие филологии по-гречески уже в эллинистический период, а затем и по-латыни отсылало к учености любого рода; любой студент назывался филологом, любителем словес. Ученики провинциального философа Ксанфа в «Жизнеописании Эзопа» — «филологи» [Vita G, 23, etc.], а Витрувий в своем трактате «Об архитектуре» называет Гомера «прародителем поэтов и всей филологии» и говорит, что цари Пергама основали городскую библиотеку, «движимые великой сладостью филологии» [Vitr. 7 praef. 4, 8]. Существовали и более узкие термины: педагогов, учивших языку, называли грамматиками, а тех, кто работал с текстами древних авторов, — критиками. Между тем *φιλολογία* и *philologia* оставались сводными понятиями, обозначающими изучение текстов ради слов — текстов и слов прежде всего древних, но также относящихся к разным эпохам, в том числе современной. К примеру, в «Аттических ночах» Авл Геллий [XVII, 10] пересказывает суждения философа Фаворина, высказанные «летом на вилле у друга» и слышанные самим Геллием, о том, как Вергилий, живший двумя веками ранее, отвечает на красочное описание извержения Этны из Первой Пифийской оды Пиндара, поэта V века до нашей эры. В короткой заметке синхронизированы четыре авторские — и четыре читательские — позиции.

Хотя о своей «любви к беседе» у Платона говорит уже Сократ, первых филологов в современном понимании мы встречаем в Александрии в III веке до нашей эры. В эллинистическую эпоху филология обретает свои две родовые черты: (1) интерес к прошлому как к чему-то далекому, отличающемуся от настоящего, но допускающему реконструкцию, и (2) преимущественное внимание к литературе как к источнику знания о прошлом и знания о мире. Вопрос, почему прошлое мы познаем из литературы, неотделим от вопроса о том, почему литературные тексты живут дольше других. Эта взаимосвязь между литературой и историей, как мне кажется, и составляет центральную проблему для теории филологии.

### 3. Semel satis est

Литература оказывается в центре внимания александрийских ученых не только как предмет изучения. Некоторые из них, как Каллимах, автор сводного каталога Александрийской библиотеки, также пишут стихи, преимущественно

стихи о прошлом, понятом как конгломерат эотических практик, диалектов, верований и мифов. Антикварный интерес к прошлому оказался заразительным и для римских поэтов, которые наполняли свои тексты изысканными мифологическими и географическими аллюзиями. Даже такой поэт, как Катулл, чья поэтика близка современным представлениям о спонтанном лирическом творчестве, пишет своему другу, что не сможет сочинить стихи ему в утешение, находясь в отъезде [68, ст. 33—36], ведь почти все его книги остались в Риме, и у него под рукой «небольшой набор писателей» (*scriptorum non magna est copia*). Хотя подходящий материал все же нашелся — миф о «втуне начатом Протесилаевом доме» и о молодой вдове первого из погибших под Троей греков — Катулл подчеркивает книжный характер своей поэзии: для дружеского общения с современниками необходимо справляться с поэтами прошлого. Прилагательное-гапакс *protesilāeāam* [ст. 74], идеально подогнанное к первой половине второго стиха элегического дистиха, подчеркивает не только ситуативную меткость мифологического примера, но и грамматическую и просодическую изощренность, с которой римский поэт использует греческие имена.

Даже те, для кого литература не была самой важной частью жизни, были причастны филологическим практикам. Так, Цицерон совмещал политическую и ораторскую деятельность и философские труды с сочинением гекзаметров и считался не последним поэтом своего времени (см.: [Bishop 2018]). Стихи Цицерона до нас не дошли, но непосредственно о филологии он пишет в письме, адресованном своему ближайшему другу Аттику [XIII, 52], где он описывает, как принимал у себя в поместье Цезаря и его огромную свиту. В письме есть стихотворная цитата, что не характерно для писем Цицерона, и оно испещрено греческими вкраплениями; по-гречески Цицерон пишет и слово *φιλολοῦγς*: в разговоре хозяина и главного гостя не было «ничего серьезного», но было «много *ученостей*».

Перед этим Цицерон не без тщеславия пишет о Цезаре: «Не таков гость, чтобы сказать ему: “Буду рад тебе, если заедешь ко мне по пути назад”. Одного раза достаточно (*Semel satis est*)». Речь здесь идет прежде всего о денежных суммах и организационных усилиях, затраченных автором письма, однако обращает на себя внимание акцент на единичности опыта филологического общения — ученой беседы за обеденным столом, не требующей продолжения и подтверждающей исключительно высокое реноме его участников.

Эклектичность и фрагментарность культурного и интеллектуального опыта человека, занятого разысканиями о прошлом, заложена в структуре «Аттических ночей» Авла Геллия, который перемежает в коротких отрывках самые разнообразные темы. Вот некоторые примеры занимающих его вопросов: свидетельство историков об использовании музыкальных инструментов во время битвы (I, 11); неверная этимология слова *fur* ‘вор’ у Варрона (I, 18); что стоики писали о структуре человеческого глаза (V, 16); верно ли Катулл использовал глагол *deprecor* ‘стараться отвратить мольбой’ (VII, 16); несомненное свидетельство о том, как дельфин влюбился в одного мальчика (VI, 18); рассуждение о том, что понятие *humanitas* включает в себя не только культуру речи (XIII, 17); перфект от глагола *descendo* ‘спускаться’, который даже в узусе образованных людей может принимать форму *descendidi*, а не *descendi* (VI, 9).

Сам Авл Геллий не считает себя педантом или книжным червем. Он с иронией пишет о труде своего приятеля, который, узнав об «Аттических ночах», решил поделиться с Геллием собственными находками. Обмен рукописями

носит дружеский характер, но Авл Геллий разочарован прочитанным. Дело в том, что его коллега исследует чересчур частные темы, которые Геллий насмешливо перечисляет: кто первый был назван грамматиком; число знаменитых мужей, носивших имя Пифагор и Гиппократ; почему в пятнадцатой книге «Одиссеи» Телемах, желая разбудить Писистрата, пнул его ногой, а не прикоснулся рукой; почему Гомер считал, что у коров телята рождаются трижды в год; список городов, когда-либо менявших название; и имена всех товарищей Одиссея, съеденных Сциллой (XIV, 6).

Авл Геллий возвращает автору рукопись, говоря, что она не поможет ему в сочинении «Аттических ночей», поскольку «его скромный труд исследует прежде всего один стих Гомера, тот самый, про который Сократ говорил, что он ему дороже всего» (*omnibus semper rebus*). Это стих 392 из четвертой песни «Одиссеи» (ὄττι τοι ἐν μευάρουσι κακόν τ' ἀγαθόν τε τέτυκται), который в переводе Жуковского звучит как «Что у тебя и худого и доброго в доме случилось». Геллий намекает на то, что все его сюжеты и темы так или иначе связаны с его домашними интересами, и они должны сохранить качество, свойственное естественному течению времени личной жизни. Он не стремится к исчерпывающей полноте знания, ведь она была бы несовместима с теми аффектами — любопытство, живой интерес, восхищение, — которые движут филологом-дилетантом. В своем ответе приятелю-антиквару Авл Геллий при помощи одного стиха (из Гомера) и одного свидетельства (о том, что этот стих Сократ предпочитал всем другим) не просто выказывает свою эрудированность, но и отсылает к более широкому кругу «друзей», в числе которых первый из поэтов и первый из философов.

Эта операция — построение сообщества людей, живших в разное время, чьи слова сохранены историей, но требуют бережного внимания и любви как со стороны ученых, так и со стороны простых читателей, — многократно повторяется в «Аттических ночах». Хронотоп ночных занятий (их римляне обозначали специальным термином *lucubratio*) особенно подходит для такой работы. Джеймс Кер на основании свидетельств из Сенеки и Плиния Старшего показывает, как возникает «ночное сообщество между автором и его читателями» [Кер 2004: 239]<sup>4</sup>. Ночные бдения важны для всех трех упомянутых античных форм знания: Квинтилиан советует будущему оратору работать по ночам в полном одиночестве, поскольку это позволяет добиться наибольшей концентрации внимания (*mentis intentio* [Inst. X, 3, 20]), Сенека говорит о том, что ночное уединение и бегство от суеты собственных дел позволяет ему «делать дело потомков» (*posterorum negotium ago* [Ep. 8, 1]), ведь им он помогает быстрее получить выношенные им самим нравственные уроки. Будущим читателям адресованы и бдения Авла Геллия: он посвящает «Аттические ночи» своим детям, однако его задача состоит не в том, чтобы научить их жить или приносить пользу обществу, а в том, чтобы помочь им преодолеть «воистину постыдное, мужицкое невежество о делах и словах» (NA praef. 4). В прологе к «Сатурналиям» Макробий говорит о том, что его текст должен служить «ресурсом учености» (*supellex scientiae*), в котором легко найдутся «достопамятные деяния и речения» (praef. 2). Если оратор тренирует память и внимание, а философ передает человечеству добытые им истины, то интересующийся прошлым ученый-филолог служит посредником между текстами и их читателями.

4 Перевод фрагмента из этой статьи см. в настоящем номере.

## 4. Филолог и антиквар

В римскую эпоху филология покрывает широкий спектр занятий и качеств: от остроумной беседы Цицерона с Цезарем до крайней степени начетничества, как в случае приятеля Авла Геллия, который преподнес ему свои «записи и выписки». Объединяет все эти ситуации представление о том, что общение между людьми приобретает дополнительную ценность, когда в него оказываются вовлечены (литературные) тексты, понимание которых требует совместного усилия по освоению прошлого.

В этом коренное отличие филологии от антикварной формы знания, в которой Карло Гинзбург вслед за Арнальдо Момильяно усматривает источник историографии [Ginzburg 2001: 51—67]<sup>5</sup>. Антиквар занят прошлым ради самого этого прошлого, а не ради понимания текстов о нем, и он восстанавливает его во всех завораживающих своей инакостью деталях. Несомненно, что эмпирическая установка на познание действительности как таковой, которую принято возводить к Аристотелю, является основополагающей для современного научного знания. Филология также связана с изучением прошлого, и ее сближает с антикварными штудиями чистый познавательный интерес, не связанный ни с философскими воззрениями, ни с характерным для ораторской традиции стремлением использовать язык для достижений тех или иных целей в настоящем.

Гинзбург показывает, что внимание к рациональным процедурам доказательства и к выявлению тех или иных обстоятельств прошлого было частью риторической традиции. Если Цицерон писал о воздействии оратора на чувства слушателей, то Аристотель в «Риторике», а вслед за ним Квинтилиан, подчеркивали рациональное зерно в работе ратора, необходимость докопаться до истины. Через Фукидида, Аристотеля и Квинтилиана Гинзбург проводит нить интеллектуальной преемственности к Лоренцо Валла — автору одного из главных текстов филологической традиции, в котором он развенчал как подделку дарственный акт Константина Великого папе Сильвестру («Дар Константина»), используя как риторические приемы, так и историко-культурные и лингвистические аргументы. Сочинение Валлы оказалось могучим оружием в эпоху Реформации, поскольку оно подрывало претензии Ватикана на политическую власть. От Валлы нить ведет дальше — к современной историографии, к «уликовой парадигме», о которой пишет Гинзбург, и, конечно, к самому Гинзбургу.

Исследование Гинзбурга позволяет нам сделать три существенных вывода. Во-первых, в истории европейской культуры наследуются не только отдельные идеи, понятия или образы; наследуются формы знания, причем посредниками при этом могут выступить не только институции или устойчивые практики, но и влиятельные тексты. Во-вторых, как показал Гинзбург, в то время как на авансцене интеллектуальной истории происходит схватка риторики с философией, на заднем плане — отчасти в пределах риторической традиции, увиденной через линзу философии, — складывается историзм, то есть представление об инакости прошлого и об определенных («археологических») методах

---

5 Перевод главы из этой книги «Еще раз об Аристотеле и истории» см. в настоящем номере.

познания, опирающихся на те следы, которые прошлое оставило в настоящем. В-третьих, отталкиваясь от работ Гинзбурга, мы можем провести границу между историографией и филологией — между эмпиризмом, который в XIX веке был переосмыслен как «позитивизм», и вовлеченным познанием прошлого, *трансисторизмом*. Филологию занимает прежде всего не то, как «это было на самом деле» (по слову фон Ранке), а то, как то, что было, встраивается в другие временные ряды и в опыт людей, живущих в иные эпохи, в том числе и в эпоху, современную филологу. Именно из-за этого в центре внимания филологии оказываются не своды законов, надписи или исторические сочинения, а литература. Неспособность объяснить этот вполне эмпирический факт составляет, на мой взгляд, главную слабость философской герменевтики. Когда Дильтей, а вслед за ним Гадамер и Блуменберг стремились сделать из филологии союзницу философии, которая помогла бы ей противостоять просвещенческому рационализму, они напрасно оставили без внимания современную им теорию литературы.

## 5. «Вынужденная теснота песни» и «чуткий слух»

Итак, необходимость развести историографию и филологию требует от нас ответа на вопрос, чем обусловлена таинственная живучесть литературы. Ключевые античные тексты о литературе не отвечают на этот вопрос прямо. Платон в «Государстве» критикует поэзию как ущербную форму отражения действительности; Аристотель в «Поэтике» также трактует поэзию прежде всего как мимесис — изображение действий и поступков. Параллельно существует риторическая традиция, с которой тесно соприкасается трактат «О возвышенном». В числе авторов, которым Псевдо-Лонгин — вполне в духе Цицероновской, аффективной риторики — приписывает власть над умами и воображением читателей, и сам Платон.

Предвосхищая категории якобсоновской поэтики, можно сказать, что в споре с философией риторика стремилась сместить акцент с референтной функции поэзии (проблемы изображения действительности) на конативную (на то, как текст воздействует на читателя или слушателя). Филологическая традиция, как мы увидим, переносит внимание на поэтическую функцию — на форму самого сообщения.

Само это повышенное внимание к форме в литературе можно трактовать по-разному. У Якобсона поэтическая функция — это принцип итерации, повторения в пределах одной синтагмы в чем-то аналогичных элементов; соотнося их, мы устанавливаем между ними парадигматические отношения. Самый очевидный пример такой дополнительной организации — это стиховой ритм. В античной традиции рефлексии о поэтическом языке в центре внимания находится категория стиля. Продолжая эту традицию, Леонардо Бруни в гуманистическом филологическом манифесте «О верном способе перевода» на первое место ставит императив верности авторскому стилю: задача переводчика состоит в том, чтобы перенести из одной языковой системы в другую характерный почерк писателя; это необходимо для установления личных отношений между автором и читателем, который одновременно осознает разделяющую их дистанцию (поскольку перевод не позволяет ему забыть о том, что

оригинал написан на другом языке) и способен преодолеть ее (благодаря тому, что перевод верно передает стиль писателя). Эти две трактовки поэтического языка — формально-лингвистическая и историко-стилистическая, — в свою очередь, требуют соотнесения друг с другом.

Бесценны дошедшие до нас фрагменты текстов стоиков о литературе, так как они могут помочь нам разобраться, почему литература, сосредотачивая внимание на сообщении как таковом, способна преодолевать большие исторические дистанции. Греческие стоики много писали о поэзии, усматривая в ней своего рода протофилософию, необходимую подготовку к абстрактному познанию истины и добродетельной жизни. Клеанф, продолжатель Зенона, сам писал стихи; среди его несохранившихся трудов — трактат под названием «Археология» и сочинение «О поэте».

Кроме того, существует по крайней мере одно прямое указание на то, что Клеанф разработал теорию поэтической речи как средства нравственного воспитания. В 108-м послании Сенека пишет о том, что даже испорченный пороком человек искренне рукоплещет опровергающим его жизнь нравственным изречениям, — но только если те доносятся до него с театральной сцены. Поэтому и философу следует прибегать к стихотворной форме, дабы действеннее (*efficacius*) внедрить мораль в души неопытных (*in animum imperitorum*):

Ибо, как говорил Клеанф, подобно тому, как наше дыхание производит более яркий звук, когда труба изливает его, пропустив через теснины длинного канала, через расширенное в самом конце отверстие, вынужденная теснота песни (*carminis arta necessitas*) делает более яркими наши ощущения (*sensus nostros clariores*). То же самое, сказанное в прозе, и слушается небрежнее, и поражает меньше: в том же случае, если прибавляется метр и четкие стопы сдерживают выдающийся смысл, то же самое речение наносит удар как будто с большим размахом [Ер. 108.10].



*Ил. 1. Сигнальная труба. Бронза.  
II век н. э. Место обнаружения: р. Майн  
у Рюссельхейма. (Antikensammlung Inv.-  
Nr. Misc. 8417. Neues Museum, Berlin.)  
Фотография Б. Маслова*

В своей книге об истоках формализма в психологии XIX века Илона Светликова показала, что тыняновское понятие «тесноты стихового ряда», связываемое им прежде всего со стиховым ритмом, восходит к понятию «тесноты апперцепции», которым пользуется в «Психологии народов» Вильгельм Вундт. Между тем, как отмечает сама исследовательница, «структурно» эти два понятия не совпадают [Светликова 2005: 110]: Вундт объясняет теснотой апперцепции (*die Enge der Apperception*) то, что мы называем предмет по одному, главному признаку, в то время как у Тынянова теснота стихового ряда описывает то качество плотности, которое характеризует,

напротив, более активные процессы смыслопорождения при восприятии стихотворного текста. Значение, которое исходит из «теснины длинного канала» (ил. 1) стихового ряда, живее и динамичнее, чем смысл обыденного, практического языка.

Переключка между Сенекой и Тыняновым свидетельствует, по всей видимости, не о косвенном влиянии, а о том, что метафора тесноты спонтанно используется разными авторами для осмысления сближенности элементов, которые в прозе разнесены и разделены. Это именно то свойство, которое определяет через итерацию в пределах синтагмы и именуется «поэтической функцией» Роман Якобсон.

Переданная Сенекой мысль Клеанфа позволяет нам более четко прояснить различие между риторической традицией, основанной на приемах убеждения, и рефлексией о поэтическом языке. Если риторика использует те или иные приемы для более убедительной передачи определенных сообщений, навлекая на себя подозрения философии в недобросовестности, то поэтический язык уже по самой своей природе обостряет нашу восприимчивость (*sensus*) вне зависимости от искусности и целей сочинителя. Иными словами, *то же самое* сообщение в стихах, исключительно благодаря своей стихотворной форме, достигает большей звучности («яркости»). Можно вспомнить, что даже враждебная к литературе философия эпикурейцев нашла себе последователей в Новое время прежде всего благодаря гекзаметрической поэме Лукреция.

Возвращаясь к древним стоикам, еще одно отражение их теории литературы обнаруживается в трактате Плутарха «О том, как слушать поэтов». Мысль о том, что литература действует на более дальние расстояния, чем не-литература, у Плутарха подкрепляется специальным термином — педагог должен воспитывать в юных читателях «чуткий слух» (ὄξυηκοῖα). Дело в том, что литература обладает способностью сообщать нам не только те смыслы, которые были вложены в текст первоначально: мы должны научиться привносить в текст свое (τὸ οἰκεῖον), в частности читая разные тексты и выстраивая многообразные связи между ними:

...не следует пренебрегать как относящимся лишь к чему-то одному также и таким словом/текстом (λόγον), пользу которого можно сделать общей и доступной, но [следует] переносить его на все похожее, а юношество приучать видеть сходство и чутко привносить свое, путем тренировки чуткого слуха на большом числе примеров (ἐν πολλοῖς παραδείγμασι ποιούμενους μελέτην καὶ ἄσκησιν ὄξυηκοῖας), так, чтобы, когда Менандр говорит: «Блажен тот, у кого есть и имущество, и ум», — они полагали бы, что это сказано и о славе, и о власти, и о силе слова... (De aud. poetis, 34c)

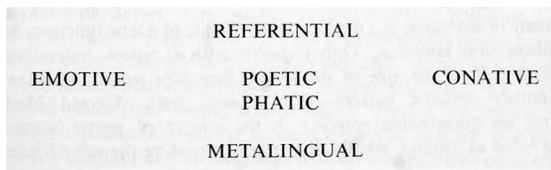
Обращает на себя внимание заложенный в концепции чуткого слуха релятивизм интерпретации. Пусть мы слышим «власть», когда текст говорит «ум»; главное, чтобы мы слышали в нем хоть что-то *свое*. Может показаться, что эта установка находится в противоречии с антикварной задачей реконструкции первоначального чтения текста, но это впечатление поверхностно: чуткий слух тренируется лишь при условии внимательного отношения к историческому и жанровому многообразию включенных в канон текстов, а также к противоречиям в пределах одного текста. Как замечает Давид Констан, «слушание для Плутарха — это всегда переслушивание уже знакомых стихотворений, которые ученик должен быть готов цитировать даже для опровержения самих этих стихотворений» [Konstan 2004: 15—16]. Едва ли не в первую очередь такой подход необходим при чтении поэм Гомера, многие стихи и пассажи которых вызывали в Античности критику и отторжение.

Поэзия, согласно Якобсону, заставляет нас устанавливать соответствия и выстраивать парадигмы в пределах текста. Та же логика итерации переносится

на отношения между заключенным в тексте опытом — когнитивным, аффективным, а в случае ритма и сугобо телесным — и опытом того, кто этот текст читает или слушает. Речь идет именно о соотношении, ни в коем случае не о совпадении, так как читающий не должен быть настолько захвачен читаемым, чтобы утратить ощущение дистанции и различия, ведь это лишит его как возможности видеть противоречия, так и свободы выбора между текстами. По этой причине чрезмерным упрощением кажется тезис Хамильтона о том, что филология ставит своей целью создавать и обслуживать некое «присутствие». Эффекты присутствия достигаются при помощи приемов и технологий визуализации («энаргеи»), которые выработаны риторикой; их цель — заставить слушающего вообразить то, что представляет оратор, и таким образом подчинить его волю. Филологическое чтение, напротив, активное и трудное, разом стратифицирующее и направленное на множество подлежащих соотношению текстов. «Присутствие» никак не может служить адекватным описанием цели этой деятельности, хотя в некоторые эпохи образность присутствия/отсутствия используется в трансистолическом ракурсе [Калугин 2020].

## 6. Кода. Схемы

Представляет интерес то, каким образом Якобсон схематически представляет свою теорию языковых функций в статье «Лингвистика и поэтика», в которой он дает знаменитое определение поэтической функции. С поэтической функцией соседствует фатическая, и не просто соседствует, а явно, побуквенно повторяет ее, образуя микропарадигму в центре схемы и превращая саму эту схему в своего рода произведение визуальной поэзии (ил. 2). Фатическая функция обеспечивает возможность контакта между говорящим и слушающим. Если в бытовом общении (по крайней мере, в додигитальную эпоху!) налаживание канала коммуникации — задача явно маргинальная, то во всех собственно филологических жанрах (глоссы, комментарий, перевод, вводная статья к изданию текстов) эта функция оказывается доминантой.

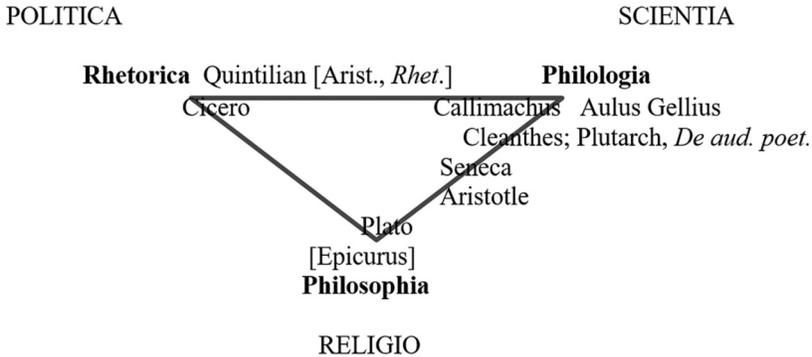


Ил. 2. Поэтическая и фатическая функции у Якобсона  
[Jakobson 1960: 357]

Решение Якобсона подчеркнуть парность фатической и поэтической функций подталкивает к мысли, что усилие филолога, обеспечивающего возможность контакта между прошлым и настоящим, является ответом на итеративную логику, заложенную в литературном тексте. Теснота поэтической речи обусловлена установкой на включение читателя в напряженную работу по выстраиванию соответствий и парадигм — ту работу, которую Плутарх назвал тренировкой читательского чуткого слуха. Эффект синхронизации между прошлым и настоящим или вечным и насущным, о котором рассуждали Клеанф

и Сенека, достигается также благодаря относительно большей «яркости» метризованной речи.

В заключение я бы хотел вернуться к тезису о возможности и даже теоретической необходимости различения трех эллинистических форм знания о мире, которые в порядке еще одного визуального эксперимента можно представить как вершины треугольника (ил. 3).



Ил. 3. Эллинистическая эпистема

Риторика учит использовать язык для нужд настоящего; философия размышляет о вневременном, часто в посмертной перспективе будущего; филология озабочена преимущественно прошлым. Если представить себе проекции этих трех вершин за пределами человеческого языка, то философию будет продолжать религия, риторику — политика, а филологию — научное знание, прежде всего знание об истории.

Авторы эллинистической эпохи, в числе которых и те, кто писал на латыни, как правило, в той или иной степени совмещали интерес к философии и интерес к филологии (как Плутарх или Сенека), либо интерес к риторике и философии (как Цицерон), либо к риторике и филологии (как Квинтилиан). В центре условного треугольника находится поэзия, существовавшая, конечно, до того, как сложились его три вершины; поэтому ресурсы поэтического языка используют и риторика, и филология, и философия. Те авторы (Платон, Сенека, Цицерон), чьи имена помещены на границу треугольника, наиболее активно и успешно работали с литературными формами. Отраженная на схеме конфигурация видоизменилась в эпоху поздней Античности, но гуманизм восстановил ее в правах по крайней мере на несколько столетий.

Теория филологии должна учитывать непростую историю ее взаимоотношений с риторикой и философией. Так, литература не является исключительным уделом филолога. И риторика, и философия разрабатывают свои концепции литературы: если первая занимается приемами воздействия на читателя, прежде всего тропами, то вторая выдвигает на первый план проблему репрезентации и фикциональности. Теория литературы, исходящая из филологии, призвана прояснить формы контакта между прошлым и настоящим, установления единовременного соответствия между «я» и «другим».

Трансисторические сообщества, которые складываются благодаря литературе, прочитанной глазами филолога, имеют ситуативную природу. Их состав

продиктован меняющимися обстоятельствами интеллектуальной жизни субъекта филологического знания; в силу этих обстоятельств один голос может оказаться громче («ярче») другого, даже если положение последнего в той или иной культурной системе выше. В лучшем случае эти сообщества напрочь отвергают иерархичность и власть канона. Дискредитация филологов как «людей в футляре» к концу XIX столетия прямо связана с тем, что институционализация гуманитарного знания неизбежно приводит к *реификации* трансистолических сообществ — будь то списки писателей, которых нужно любить со школьной скамьи, навязываемое всем гимназистам представление о привилегированном положении древнегреческого и латинского языков или относительно аморфная гуманистическая Традиция у Гадамера. Вслед за Ницше мы можем сказать, что возможность обращения к Античности ценна именно тем, что греки и римляне находятся вне власти позднейших идеологических конструкций. Многие в древности понимали, что единственный способ дружить с Гомером — это дружить с ним *по частям*, ведь полюбить его целиком невозможно. Филологический эффект невозможно отделить от критического импульса, от разбора текстов на составные части, от работы по контекстуализации и ресинхронизации множества неудобных, разновременных, ищущих своей парадигмы элементов.

## Библиография / References

- [Калугин 2020] — *Калугин Д.* Между философией и литературой: понятие *присутствие* в текстах XVIII в. // *Die Welt der Slaven*. 2020. Vol. 65. P. 7—17.
- (*Kalugin D.* Mezhdru filosofiey i literaturoy: ponyatie *prisutstvie* v tekstakh XVIII v. // *Die Welt der Slaven*. 2020. Vol. 65. P. 7—17.)
- [Светликова 2005] — *Светликова И.* Истоки русского формализма. Традиция психологизма и формальная школа. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
- (*Svetlikova I.* Istoki russkogo formalizma. Traditsiya psikhologizma i formal'naya shkola. Moscow, 2005.)
- [Bishop 2018] — *Bishop C.* Pessimus omnium poeta: Canonization and the Ancient Reception of Cicero's Poetry // *Illinois Classical Studies*. 2018. Vol. 43. № 1. P. 137—159.
- [de Man 1986] — *de Man P.* The Return to Philology // *The Resistance to Theory*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986. P. 21—26.
- [Ginzburg 2001] — *Ginzburg C.* Rapporti di forza. Storia, retorica, prova. 2da ed. Milano: Feltrinelli, 2001.
- [Gumbrecht 2003] — *Gumbrecht H.U.* The Powers of Philology: dynamics of textual scholarship. Urbana, IL: University of Illinois Press, 2003.
- [Hamilton 2017] — *Hamilton J.* Security: Politics, Humanity, and Philology of Care. Princeton: Princeton University Press, 2017.
- [Hamilton 2019] — *Hamilton J.* Philology of the Flesh. Chicago: University of Chicago Press, 2019.
- [Jakobson 1960] — *Jakobson R.* Closing statement: Linguistics and Poetics // *Style in Language / Ed. by T.A. Sebeok*. Cambridge, Mass.: MIT Press. P. 350—377.
- [Ker 2004] — *Ker J.* Nocturnal Writers in Imperial Rome: The Culture of Lucubratio // *Classical philology*. 2004. Vol. 99. No. 3. P. 209—242.
- [Konstan 2004] — *Konstan D.* The Birth of the Reader // *Scholia*. 2004. Vol. 13. P. 3—27.
- [Maslov 2017] — *Maslov B.* How to Murder a Word of Art: Philology, Historical Poetics, and the Morphological Method // *Poetics Today*. 2017. Vol. 38. № 3. P. 485—518.
- [Pollock 2009] — *Pollock Sh.* Future Philology: The Fate of a Soft Science in a Hard World // *Critical Inquiry*. 2009. Vol. 35. № 4. P. 931—961.
- [Porter 2000] — *Porter J.* Nietzsche and the Philology of the Future. Stanford: Stanford University Press, 2000.
- [Turner 2014] — *Turner J.* Philology. The Forgotten Origins of the Humanities. Princeton: Princeton University Press, 2014.
- [Weller 2019] — *Weller Sh.* Active Philology: Barthes and Nietzsche // *French Studies*. 2019. Vol. 73. № 2. P. 217—233.